



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Восток или Запад

I

Вот книга, которая не скоро дойдет до читателей. Но не пропадет, потому что обладает главным достоинством книг: *она есть*, — тогда как множества из тех, которые слишком скоро доходят до читателей, вовсе нет.

Я, впрочем, уже и теперь знаю одну московскую барышню-курсистку, которая объявила, что «Серебряный голубь» (повесть Андрея Белого, — я о ней говорю) «выше всего Достоевского»¹. Знаю также одного критика в «Аполлоне», который мимоходом и без всяких доказательств, как будто это само собой разумеется, назвал ее «гениальной»².

Привожу эти отзывы без насмешки, хотя такие похвалы и напоминают булыжник, убивающий муху на дружеском лбу. Есть доля правды и в них, как во всякой брани и во всякой похвале: дыма без огня не бывает.

Можно бы даже, в известном смысле, согласиться с критиком, что повесть Белого гениальна, — не талантлива, а именно «гениальна».

Что такое талант и гений? Обыкновенно думают, что очень большой талант — гений, а небольшой гений — талант. Но это не так. Сколько ни увеличивай таланта, не получишь гения; и сколько ни уменьшай гения, не получишь таланта. Тут не количественная, а качественная разница, — явления двух разных порядков.

Художник талантливый отражает данное бытие, то, что есть; гениальный — сам есть новое бытие, то, чего никогда раньше не было и никогда больше не будет. Талант все видит снова; гений все видит в первый раз, как только что глаза открывший Адам. Талант — как все, только просветленное и облагороженное «как все»; вот почему за ним — успех, удача, победа, слава. Гений — вопреки всем, против всех. Только смерть, и смерть крестная может примирить людей с гением. Люди и природа не любят его —

и поделом: гений противозаконен, противоестествен, преступен, разрушитель, чудовищен. Вот почему законы естественные и человеческие заранее принимают все зависящие от них меры против гения: душат его в колыбели. На двух великих удачливых, только двух за целые века, — Л. Толстого и Гёте — сколько задушенных!

Думают также, что талантов больше, чем гениев. Может быть, наоборот. Таланты все на виду, наперечет. А незримых гениев такое же бесчисленное множество, как незримых чудес в мире, звезд в дневном небе. Сила гения подобна силе радия, который драгоценнее всех металлов, но в бесконечно малых количествах есть всюду, где жизнь. Л. Толстой, Гёте, куски радия, реже талантов; но бесконечно малые дробы, дробинки, атомы гения рассеяны всюду. За каждым явлением — чудо; за каждым человеком — гений, то единственное, неповторяемое, неисповедимое, чудесное, что называется *личностью*, что родилось и умрет с человеком, чего никогда раньше не было и никогда больше не будет, кроме вот этого Петра и вот этого Ивана. Доведите до конца, до совершенства Петрово, Иваново — и получите чудесное, чудовищное, небывалое, невиданное, *гениальное*. Всякий гений — завершенная личность; всякая личность — незавершенный гений.

У Раскольникова, может быть, не менее гениальная мысль, чем у Наполеона; вся разница в том, что один, после многих удач и неудач, сел на Св. Елену, а другой сразу сел в лужу. Достоевский — почти удавшийся гений; но в главном для него самого, в религиозной проповеди, тоже сел в лужу. До сих пор мы не можем его проглотить, — он застрял у нас в горле: слишком жесток, жёсток, болезнен, опасен, чудовищен, гениален. А как проглотили мы Чехова! Это потому, что великий *талант* Чехова — мы же сами, только в «прославленном теле», светлое золото наших сердец; а Достоевский — не мы, а что-то совсем другое; не светлое золото, а темный радий.

Если быть «гениальным» еще не значит быть великим, если существуют гении, так же, как таланты, всех размеров — от солнца до атома, — то никому не в обиду и без булыжных похвал можно сказать, что А. Белый — «гениален». Сразу ли он сядет в лужу или еще побарахтается (это барахтанье, при некоторой удаче, и после смерти гения, называется «гениальным творчеством»), — не берусь предсказывать. Но уже и теперь видно, что успеха, сочувствия, славы — всего, что свойственно талантам, — у него не будет или будет не скоро. Арцыбашева, Л. Андреева, Куприна глотают, как устриц; Андрея Белого даже глотать не пробуют, а сразу выплевывают. Художественная дикость его, шершавость, нелепость, чудовищность — так очевидны, что и указывать на них почти не стоит: слепой увидит. Да и не в них дело. Если бы он избавился от всех своих недостатков, никого бы это не порадовало и не прими-

рило с ним; пожалуй, напротив, ожесточило бы. Главная вина его не в том, что он хуже всех, а в том, что на всех непохож, — мал, плох, дик, шершав, уродлив, все что хотите, — но единствен, неповторяем, не талантлив, а «гениален».

II

«Настоящая повесть, — говорит автор в предисловии, — есть первая часть задуманной трилогии “*Восток или Запад*”».

Вот один из примеров художественной слабости А. Белого: то, что должно быть сердцем произведения, он делает заглавием, вывеской. Восток или Запад? Такова, действительно, кратчайшая математическая формула вопроса; но о глубине его нельзя судить по ней, так же как по химической формуле воздуха о глубине воздушной дали.

А между тем вопрос действительно глубок, может быть, глубже всех стоящих сейчас перед нами вопросов о судьбах России. И как бы А. Белый ни коснулся его, уже то, что он это сделал, в русской художественной литературе последних годов принадлежит ему одному — единственно, «гениально», хотя бы в том условном смысле, о котором я предупредил.

Спор западников и восточников (славянофилов) проходит, как меч рассекающий, через всю историю русского сознания, русской интеллигенции; но острие меча касается здесь же, именно в этом вопросе, и сердца народного. Он был, когда еще не было ни славянофилов, ни западников, ни даже самой России: с ним она и родилась.

Призвание варягов — вот первое движение того, что будет Россией, с Востока на Запад. И тотчас, в принятии византийского восточного христианства, православия, обратное движение, от Запада на Восток.

Восемь веков, вплоть до Петра, наполнены борьбою тех же двух начал. Петр застал Россию в таком положении, что еще один шаг, и она оторвалась бы окончательно от европейского человечества, отпала бы от него, как высохшая ветвь от лозы. Петр понял, что это вопрос жизни и смерти для России. И судорожным усилием, с вывихом суставов и треском костей, повернул ее лицом к Западу. Кровавым кесаревым сечением, убивая мать, спас ребенка — новую Россию.

Но и в ней борьба двух начал, двух светов, как в сумраке белых ночей, не прекратилась, а только ушла внутрь и сделалась еще более изнурительной, как вогнанная внутрь болезнь. Интеллигенция и народ, народ «богоносец» и «безбожная» интеллигенция — в новом виде тот же вопрос.

За два века петербургского периода преемники Петровы сделали все, что могли, чтобы опустошить, выхолостить реформу, вынуть из нее живую душу и оставить лишь мертвое тело — восточное самовластье с европейской техникой, «Тамерлана с телеграфами». Эта вогнанная внутрь болезнь, подземное тяготение петербургского Запада к «Дальнему Востоку» на наших глазах кончились великим разгромом — Порт-Артуром и Цусимой³.

И почти с такою же судорогою, кровавою ломкою, с таким же вывихом суставов и треском костей, как во дни Петра, опять рванулись мы к Западу — в революцию. И опять не дорвались, бесильно рухнули, как будто покорствуя закону мертвых тел — угол падения равен углу отражения, — отшатнулись к Востоку. В переживаемой нами реакции совершается это именно обратное движение раскачнувшегося маятника. А, может быть, и в глубине самой революции уже невидимо скрещивались два подводные течения, образуя бездонный водоворот.

Встреча этих двух течений, столкновение революционного Запада с религиозным Востоком — такова тема «Серебряного голубя» — тоже в своем роде единственная, «гениальная».

Канва повести под многоцветной вышивкой проста.

Молодого писателя Петра Дарьяльского баба Матрена, жена столяра Кудеярова, совращает в секту «голубей». Секта эта, напоминающая хлыстов, ожидает пришествия и воплощения Духа в плоть человеческую именно в наши дни, в России. Матренин муж, столяр Кудеяров, основатель и глава секты, надеется, что от его жены и ее любовника родится ожидаемый Младенец — Белый Голубь. С этою целью он и сводит их. Дарьяльский сперва увлекается учением «голубей», но потом, разглядев в нем дикое изуверство — «ужас, петлю и яму», — хочет бежать. Сектанты заманивают его в ловушку и убивают.

«Секта эта мистическая и, вместе с тем, революционная», — замечает один остроумный агент сысского отделения и в доказательство приводит воззвание «голубей»:

«Осени себя крестом, народ православный, ибо времена близки: подними меч на слуг веельзевуловых, от них же дворяне первые суть. Огнем пополающим пройди по земле русской; разумеи и молись: рождается Дух Свят. Жги усадьбы отчадия бесовского, ибо земля твоя, как и Дух твой».

«Освобождение народа приходит через Дух Свят, — проповедают голуби. — Примкнуть голубям к забастовщикам пора... С сицилистами идти рука об руку, не открываясь до срока и даже, наоборот, направляя, где нужно, сицилистов этих, потому что и они хотя правду видят, да только под одним своим носом; а прочее все у сицилистов дрянь...»

Происходит такой диалог:

— «Так-то оно так; хорошо это у вас писано, только есть ли у вас свой сицилистический Бог?»

— Предоставим небо воробьям и водрузим красное знамя пролетариата...

— Ой ли, а не красный ли гроб?»

Для «голубей» социализм — такое же «царство Зверя», как и старый порядок.

Что «в народе новые народились души», что «строится, собирается Русь, чтобы разразиться громами», — в этом убежден и Дарьяльский.

— «По глазам вижу — наш: и он все о тайнах, — говорит столяр Кудеяров. — *Да он из господ: не может обмозговать, кака така тайна; оттого что учился, — ум за разум зашел; а тайна nonetheless с нашим братом, с мужиком*».

Таков разрыв Востока с Западом, народа с интеллигенцией, что и «Духов огонь» не может их спаять. В своем религиозном творчестве народ чувствует себя выше интеллигенции: тут уже не она — его, а он ее поведет.

Было ли все это? Кто знает? Кто видел? Под тем углом зрения, под которым до сих пор нам являлся народ, не могли бы мы *этого* увидеть, если бы оно и было. Но пусть не было; не могло ли быть? Вчера не было: не будет ли завтра? Во всяком случае, А. Белый заставляет нас верить, хотя на миг, в эту возможность, как в действительность.

Страшная или желанная действительность — вот вопрос, связанный все с тем же основным, всеобъемлющим, все решающим в русских судьбах вопросом: Восток или Запад?

III

— «Проснитесь, вернитесь...

— Куда?

— Как, куда? На Запад... Вы — человек Запада...

— Отыди от меня, Сатана, *я иду на Восток*».

Такой разговор происходит между неким «бритым барином», западником, и героем повести.

«Этот путь, — объясняет героя автор, — для него был путем России, в которой начинается мира преобразование или мира погибель».

Что же именно — преобразование или погибель? Герой не знает. Знает ли автор? Повесть А. Белого — не чистое искусство, но и не проповедь. Главная ошибка, как художника, так и проповедника, та, что не отделили они себя от своего героя. Это раскалывает художественное созерцание и проповедь делает двусмысленной.

Кажется иногда, что автор мог бы повторить вслед за героем: «я иду на Восток»; что для них обоих пути европейского Запада и русского Востока именно здесь, в религиозных исканиях, бесповоротно расходятся.

«Множество слов выбросил Запад на удивление миру»... Но все слова эти — «сказанные». Россия же томится о несказанном... «Россия есть то, о что разбивается книга, расплывается знание, да и самая сжигается жизнь. В тот день, когда к России привьется Запад, всемирный его охватит пожар: сгорит все, что может сгореть, потому что только из пепельной смерти вылетит райская душенька — Жар-Птица... О, русское поле, русское поле!.. Убегают твои сыны от тебя, широкий твой забывают простор в краю иноземном; и когда они возвращаются после, кто их узнает! Чужие у них слова, чужие у них глаза... Но в душе они твои, о поле!.. Знает ли каждый из нас, чем он кончит?.. Полуживой убежит за границу... и там покоя ему не найти никогда. Изрыдается душа, ум засохнет... Кончит же тем, что вернется к тебе, о русское поле!»

Вот страничка, от которой взыграло бы сердце старых славянофилов, а может быть, и новых «истинно русских людей». Если этому поверить, то ответ на вопрос, Восток или Запад, слишком прост.

Гречневая каша сама себя хвалит; Русь сама себя называет «святою», — так искони повелось. Но в том положении, в каком мы сейчас находимся, прежняя уверенность в собственной святости едва ли кому-нибудь может казаться основательной, кроме самих уверенных.

Положим, скоро — завтра наступит у нас царствие Божие. Но ведь вот сегодня, по собственному признанию А. Белого, русские люди «складом жизни не радуют взора: слово их, что ни есть, — сквернословие; жизни склад пьяный... неряшество, голод, немота, тьма»...

Все это он видит, но не смущается: при всех наших мерзостях, мы лучше всех, ибо знаем «слово несказанное»: сидя на своем гноище, мы можем быть уверены, что навозная куча наша «разразится громами», подобно Синаю; что «преображение или гибель мира» зависят от нас одних: захотим — преобразим, захотим — погубим.

И всего утешительнее то, что нам для этого ничего делать не надо: мы избранники Духа, а «духово дело есть *безделье святое*». Европе наше безделье кажется просто свинством: мы же знаем, что это свинство святое, — чем свиннее, тем святее.

— «Так оно, как-то тово: мы — што... мы, иетта, можно сказать, тово — не тово, опчее прочее такое, и всё как есть»... Вот каким «несказанным словом» победили мы все «сказанные» слова Запада!

— «Говорят о молчании, потому что не умеют членораздельно выражаться... Когда говорят о несказанном, это доказывает лишь то, что человек впадает в скотоподобное состояние», — предостерегает «бритый барин»; но ни герой, ни автор не внемлют.

«В православии и в отсталых, именно, понятиях православного мужичка видел он (Дарьяльский) новый светоч в мир грядущего Грека». Но немного спустя, тут же, в этих самых понятиях, увидит «смесь свинописи с иконописью» — русской «свинописи» с византийской «иконписью».

И ничем не лучше старых византийских — «новые народившиеся в России души». Даже не смесь с иконописью, а голая свинопись у них. Сначала герой сомневается, кого, собственно, ждут они, — «белого голубя или черного ворона»; «бездна то, или высота поднебесная»; «мира преобразование или мира погибель?» Но, наконец, приходит к убеждению, что все это «ужас, петля и яма»; что «какая-то темная бездна с Востока прет на Русь».

И бежит от Востока, так же, как давеча бежал от Запада. А с героем, кажется, и автор. Начав за здравие, оба кончают за упокой Востока: отыди от меня, Сатана, — *я иду на Запад*.

Так из-за чего же было огород городить? Над чем от умиления захлебываться: «о, русское поле, русское поле»? Что шапками всех закидаем и что мы святее всех народов — это мы и так знали, без А. Белого и Белого Голубя. Но если нам не на что больше надеяться, то дела наши плохи, и не о спасении мира следует нам думать, а о том, как бы самим не погибнуть. Говорить: «Господи, Господи!» — и не творить воли Господней, — этого еще недостает, чтобы сделаться народом-богоносцем. Лучше молчать о Боге, нежели кощунствовать. А что же такое это «неслышанное слово», как не сплошное кощунство, сатанинская гордыня?

Мало нас учила история, секла розгами, как школьников, — рубцы еще на теле не зажили, — и вот мы опять за то же.

Ошибка А. Белого — ошибка всех старых и новых славянофилов: русскому Востоку противопоставляется европейский Запад, *как религиозной полноте пустое место*. Но «бритый барин» — такая же карикатура на Запад, как столяр Кудеяров — на Восток. Это не две правды, а *две лжи. Какая лучше? Обе хуже*.

Нет, Восток — не религиозная полнота, и Запад — не пустое место. Мир до сих пор не знал бы, что такое *личность*, лицо человеческое, образ и подобие Божие, если бы не религиозное творчество Запада, ибо весь Восток, в том числе и русский, попирает и попирает личность, жертвовал и жертвует безличному, мнимому соборному, мнимому церковному. Свет нисходящий, западный — правда о земле, о человеке — не меньший свет, чем восходящий, восточный — правда о небе, о Боге. Только соединение этих двух

светов, двух прав — даст полуденный свет, совершенную правду о Богочеловечестве.

На вопрос: Восток или Запад? — единственный ответ — отрицание самого вопроса: не Восток *или* Запад? — а Восток и Запад.

Таков предел отвлеченного созерцания; но для жизненного действия нужно в каждую минуту знать, с какой ноги ступить, куда идти. Нужна *воля*.

В своем теперешнем, — будем надеяться, не окончательном, — состоянии А. Белый — человек без воли. Если как будто решает он вместе со своим героем: «иду на Восток», то не по своей воле, а по ветру, качнувшему его, — ветру, сегодня в России дующему в ту сторону. Но тотчас же готов качнуться и в противоположную — на Запад. А в конце концов, ни на Восток, ни на Запад; ни туда, ни сюда; ни в кузов, ни из кузова. Неподвижное равновесие, мертвая точка. «Святое безделье», святое безволие.

Это наше общее проклятье. Страшен человек, — но еще страшнее народ без воли. Не по своей воле двигалась доньше Россия между Востоком и Западом, а как маятник раскачивалась или как то мертвое тело, которым «хоть забор подпирай». Куда пихнут, туда и валится. Если это продлится, то участь наша — участь всех мертвых тел, — разложение.

Всякая гениальность есть, прежде всего, явление воли, неизбежный переход от созерцания к действию. Если А. Белый не выйдет из своего неподвижного равновесия, «святого безделья», если не решит волею, что ему делать, куда идти, с какой ноги ступить, то так и останется неудавшимся «гением».

Еще не поздно: помоги ему Бог.

